

Говорить о Катаеве... Да. Говорить. И сказать — по-своему — обо всем? Нет, хотя бы о том, кем он был для меня — всегда. С детства — и до теперешних дней. Но тогда почему же — был? Жив он — в речи. А значит — есть. И его присутствие — рядом — и со мной, и с другими людьми — несомненно. Поскольку в речи существуют обычно — лучшие. И Катаев — один из лучших. Так сложилось. Он — выжил. Стал, вопреки эпохе и власти оголтелой — самим собою. Долговечные создал книги. В них — судьба его. Между строк — да и в каждой строке. В любом полном-весном катаевском слове. Просто надо уметь читать. За вниманием — понимание, словно свет золотой, придет. Ведь в катаевских книгах — всех — созидательная энергия, драгоценная, помогающая людям жить. Великое свойство! Ну а прежде всего писатель замечательный этот — поэт. Вот и надо сказать. О многом. И легко — и действительно трудно.

Присутствие в мире. В сознании людском, беспокойном. В душах. Во множестве бьющихся в разных синнопических ритмах, но все-таки тяготеющих иногда к неизбежной вселенской гармонии на просторах земных и небесных, неизменно отзывчивых, если есть на что отозваться, снвозь время и пространство, людских сердец.

Присутствие в памяти. В ней все то, что дорого, — дома.

Присутствие в яви. В реальности. Со всеми ее парадоксами. С достоинствами, недостатками, с огнем и медными трубами, с прорывами в неизведанное и с трезвым ее осознанием — как данности. Никуда нам всем от нее не деться. Задуматься? Оглядеться? Шаг влево, шаг вправо. Путь найти. С него — не свернуть. Всему вопреки — идти. Никто не собьет с пути.

Присутствие в настоящем. И в прошлом. Потом — в грядущем. Дано это лишь идущим. Поблажек и льгот не ждущим. Дано это лишь прозревшим.

Желанную песню — спевшим. Сумевшим спастись. И — выстоять. Свой путь — деяньями высветлить. Пусть век был жесток и болен. Победа — за тем, кто волен однажды решить — как быть. Протянется свыше нить, чтоб выйти из мрака к свету. Отнюдь не в сплошное лето. И вовсе не в рай. В аду — лишь веря в свою звезду, спастись удастся. Весть услышать. Прозреть. Упрямо пройти сквозь любые драмы. Упрямецам — хвала и честь.

Жизнь в речи. В стихии. Труд огромный. И в нем — спасенье. Избранничество? Везенье? Пусть вождь на расправы крут. Плыть — против течения. Встать над хаосом. Жить в затворе — у всех на виду. Знать горе. И выстрадать — благодать. Ведь речь — наше все. Лишь в ней — свобода, и в ней — защита от бед. И лишь в ней открыто земных продолженье дней.

(Может, снажут зоилы: ну вот, с панегирика начал, — причем, как всегда, у него получается — говорит ведь не прозой — стихами!

Мне виднее, как изъясняться. Речь ведет меня нынче сама. И чутье, и наитье — при мне. Говорю — так, как нужным считаю.)

Первая по-настоящему большая, многостраничная, вполне взрослая книга, прочитанная мною, после целой груды разнообразных маленьких, досадно тоненьких, с преувеличенно крупными, четкими шрифтами, щедро снабженных цветными или черно-белыми иллюстрациями, разноформатных книжек, предназначенных именно для маленьких детей и оттого, наверное, отчасти игрушечных, каких-то несерьезных, в моем послевоенном, провинциальном, украинском детстве, еще в дошкольном возрасте, в то далекое, благословенное, чистое время, когда жажда непрерывного, все нового и нового, ежедневного, притягательного, увлекательного, познавательного, распахивающего передо мною земное пространство и зовущего за собою сквозь все времена, вовсе не механического, не потребительского, но, как я понимаю теперь, именно творческого чтения, дававшего нужный импульс моему собственному воображению, уже стала для меня жизненной необходимостью, — катаевский «Белеет парус одинокий».

Книга из маминой домашней библиотеки. Довоенное издание, конца тридцатых годов прошлого века.

(Непривычно, странно и даже почти дино для меня — уточнять, что «прошлого века», если все это и в начале нового, двадцать первого века, так ясно видится, так отчетливо помнится, словно происходит не в былом, а сейчас.)

Простая, синевато-свинцовая, цвета зимнего моря, пожалуй, — да, морская, а как же иначе, если парус — в тумане моря, если он белеет сквозь хмарь, если море — стихия, таяя же, как и речь, если речь и море — в неизменном, давнем родстве, если в этом родстве — залог жизни, творчества, суть, продолжение дней земных, спасенье, прозренье, пониманье, горенье, даренье, — достаточно твердая, прочная и поэтому довольно гибкая, пружинистая, не дававшая трещин, если даже резко ее сгибать, упрямо возвращавшаяся в прежнее ровное состояние, прямо-таки с характером, выносливая обложка.

Желтоватая, возможно — газетная, но тоже почему-то прочная, не сминавшаяся бумага. Примерно двести пятьдесят страниц. Вот это — совсем по-взрослому. Так и надо. Как раз — для меня.

Текст, в котором таилось чудо.

Помню, я, находясь в настоящем своем, не желая прощаться с минувшим, остающимся для меня все таким же, реальным, живым, вопреки всем прожитым дням и годам — родным, настоящим, как открыл эту книгу — и начал читать.

И с первой же фразы, мгновенно увлекшей меня за собою, я не мог уже оторваться от книги, понуда не дочитал ее всю, до завершающих ее лермонтовских строк.

Эта первая фраза была намертоном — для всей тут же услышанной и на протяжении всех последующих лет ниюгда не прекращающейся музыки.

«Часов около пяти утра на скотном дворе экономии раздался звук трубы.

Звук этот, раздражающе-пронзительный и как бы расщепленный на множество музыкальных волокон, протянулся сквозь абрикосовый сад, вылетел в пустую степь, к морю, и долго и печально отдавался в обрывах раскатами постепенно утихающего эха».

Свежий юго-западный ветер ворвался ко мне в окно, влажный, полынный, мятежный, словно таинственный незримый вестник, то ли из прошлого, то ли из будущего, и принес в дом йодистый запах моря, увидеть которое так я мечтал тогда.

Свободная стихия моря волшебным образом соединилась в моем сознании со стихией речи.

Наивное, но верное предощущение ждущей меня где-то далеко, впереди, неведомой, но прекрасной любви, самых невероятных событий, путешествий, приключений, радостей и мучений, сражений со злом и торжества добра, пришло откуда-то извне, возможно — из вселенских глубин, и одновременно бережно и сильно сжало мое детское сердце.

Золотистый, осенний, чистый, с ненавязчивой, но очевидной, словно просесть, воздушной, легкой, расслоившейся в глубине набухающих новым дождем беспредельных небес, над землю, над садами окрестными с желтой и багряной листвой, над стоящими вдоль протянутой к северу улицы молчаливой шеренгой домами, заворачивающей, сквозящей холодном, ледяной серебрянкой, разрастающийся, словно древо, вверх повернутое корнями, непокорный, гордый, скитальческий, вольный, но и задумчивый, тихий, в то же время, неброский, скромный, не желающий объяснять, что к чему, отчего он такой, остающийся в бездне пространства, в дебрях разных времен, в любых измереньях, самим собою, несказанный, блаженный свет на глазах моих превращался в изумительное сияние.

Прочитав катаевскую книгу, я, застенчивый веснушчатый мальчишка с акнуратно подстриженной рыжеватой челной, фантазер, мечтатель, книгочей, вдохновенный обитатель своих воображаемых миров, пристально вглядывавшийся во все проявления разворачивавшейся вокруг меня непрерывными шлейфами, свернавшей передо мною, на каждом шагу, в любое мгновение, всеми своими показными и потаенными гранями, восхитительно загадочной, полной невероятных тайн, донельзя противоречивой, обескураживающе сложной, настораживавшей, ошарашивавшей, заставлявшей призадуматься, в чем-то быть осторожнее, что ли,

не бросаться в эту клубившуюся, непрерывно звучащую, неизбежную, властную бездну с головою, но и неизменно, все сильнее, все чаще, манившей к себе яви, твердо знал, что через какое-то время, повзрослев, тоже стану писателем.

Все началось — навсегда.

С тех пор этот дивный писатель, в прозе своей — поэт самого высшего ранга, выразивший свою страшную и прекрасную, безумную и жестокую, трезвую и вдохновенную, со всеми ее проявлениями бесчисленными, эпоху так, как никто другой, присутствует, нет, обитает, живет, находится рядом, разговаривает со мной, смотрит своим пронзительным, от запорожских преднов доставшимся, острым, цепким, хищным, степным, нозацким, походным взглядом воителя и сназителя на меня, слышит меня повсюду, где бы я ни был, напутствует, выстояв смело, присутствует, словно родной человек, в моей весьма непростой, но такой уж как есть, как сложилась, мне дарованной, личной, моей, бурной, странной, когда-то божественной, а потом сторонящейся хаоса междувременья, проходящей в ежедневных трудах, в стороне от развала и бреда, затворнической, созидательной, творческой жизни.

А может быть, да, конечно же, если в корень смотреть, если вдуматься, суть поняв, только так, — и в судьбе.

В отрочестве постоянное, неутолимое, неутомимое чтение было для меня — моим укромом, уединением, отъединением от школьных занятий, от уличного общения, от всего, что мешало сосредоточиться, жить постижением нового, впитывать, *вбирать себя знания*, чувствовать себя открывателем неизведанных земель, измерений, миров.

Чтение было сокровенной, закрытой от посторонних любопытных взглядов, моей собственной, личной областью, владением, даже страной.

Чтение было защитой от всего нежелательного, чуждого, ненужного, раздражающего, мешающего жить по моим законам и правилам, никого не копируя, никому не подражая, отстаивая свою независимость, каждый день по чутью, по наитию находя необходимые ритмы для жизни вовсе не будничной, не снучной, не однообразной, но именно для творческой, для размышлений, фантазий, для той свободы воображения, которая, открывшись мне так рано, не покидала меня уже никогда.

Чтение было средой обитания. Чуть ли не образом жизни.

Чтение было — началом Пути.

Разумеется, в числе множества других, всегда были рядом и катаевские книги. Все, которые удавалось обнаружить и взять домой сразу в нескольких библиотеках, где считался я едва ли не самым усердным читателем, и таких книг, изданных и переизданных в прежние времена, было, конечно, больше, вплоть до катаевского собрания сочинений, внушительного пятитомника, или же, попросив денег на такое благое дело у родителей, а то и самому их накопив, найти и купить, что было намного лучше, да и приятнее, потому что сам процесс поисков желанных книг был азартным, каким-то следопытским, охотничьим, потому что книга, обретенная наконец-то, в результате неустанных поисков, становилась тогда моей собственной, принадлежала именно мне, — все катаевские, такие увлекательные, необычайно яркие, буквально светившиеся талантом, солнечные, идеально совпадавшие с моими давними настроениями, дававшие щедрую

почву для размышлений, разительно отличавшиеся от прочих советских изданий, книги, которые посчастливилось мне прочитать.

#### «Хуторок в степи».

Хорошо помню, как, нанюбив немного денег, я отправился с территории нашей заречной, низинной, закрытой от степных ветров холмами, заросшей садами, снвозь густую зелень которых выглядывали оранжевые черепичные крыши окрестных домов, представлявшей собою некий особый, независимый мир, со своими нравами, своим собственным, неторопливым движением жизни, шелестящей на ветру листвой огромных старых тополей, родной для меня, ее обитателя, почти пригородной Гданцевки, называемой раньше, в девятнадцатом веке, далеко не случайно, конечно же, Тихим Притулком, в город, как мы все тогда говорили, или же в центр, в старую часть Кривого Рога, перешел мост через Ингулец, оказавшись на левом берегу реки, где начинались уже, вперемешку, кварталы старых и новых домов, и отправился, на поиски сокровищ, по всем известным тогда мне, расположенным в относительной близости, книжным магазинам, и нигде ничего хорошего не обнаружил, — но зато прямо на улице, где воздух содрогался от воробьиного щебета, доносящегося из ближнего сквера, на тротуаре, по которому поднимались вверх, к рынку, люди с пустыми сумками и корзинами и спускались вниз уже побывавшие на рынке люди, тащившие наполненные продуктами сумки и корзины, а мимо них, тарахтя на выбоинах горбатой дороги, проезжали грузовики или редкие легковые машины, заставляя прохожих невольно оглядываться на них, на лотке, сиротливо приткнувшемся к выщербленной стене жилого дома, неподалеку от продовольственного магазина, посреди малоинтересных для меня изданий, сразу же увидел, поскольку зрение сфокусировалось именно на ней, и немедленно купил эту изданную «Детгизом» книгу в плотной зеленой обложке.

Сколько раз я ее перечитывал — трудно сказать.

Она идеально совпадала с моим тогдашним состоянием души.

В ней была удивительно выражена — любовь.

#### «Зимний ветер».

Наснвозь прокаленный, донельзя прогретый, чрезмерно перегретый, со всех сторон опаленный разгоряченным, вошедшим в раж летним солнцем, разомлевший, соловый, полусонный Бердянск. Рыбачьи сети, вздрагивающие от малейшего признака ветерка. Лодки, на днищах которых закипала и пузырилась отражающая свет густая смола. Белесые соляные полосы, среди которых росли марсианские красные растения. Гирлянды сушеных бычков, развешанные во дворах. Песчаный, усыпанный осколками ракушек берег Азовского моря. Слишком теплая, изжелта-зеленая, нишащая морскими коньями и рыбами-иглами, вода в заливе. Серебристые, стройные, со снвозной, бликующей листвой, древесным воинством стоящие на страже чего-то недосказанного, растаявшего в разгоряченном, зыбном, слоистом воздухе, вытянутые ввысь тополя. Неумолкающий, громкий, призывный стренот цикад.

Пионерский лагерь, нуда, словно притягиваемый загадочным магнитом, ездил я несколько раз, по причине страстной и безответной любви к одной белокурой, с характером, девочке. Распорядок дня, утренняя зарядка, походы, коллективные купания в море, художественная самодеятельность, по вечерам — фильмы в летнем кинотеатре, под открытым

В городе, в газетном киоске, стоявшем посреди жары, между небом и морем, как отдельный крохотный островок, я купил, еще издали увидев броскую обложку, сразу же выделявшуюся среди маловыразительных обложек прочих периодических изданий, свежий, только что вышедший номер журнала «Юность», с напечатанной в нем первой половиной катаевского романа

небом, нашествие комариных орд, задушевные разговоры, выразительные взгляды, надежды, желания — и, конечно же, танцы. Томный голос певца из громкоговорителя: «О, Флорида, Флорида, Флорида, почему не танцуешь, Флорида?..» Кружащиеся или неуклюже топчущиеся на месте пары, которым так хотелось поскорее стать взрослыми. Освещенная прожекторами танцплощадка. Томящая, манящая к себе, до предела насыщенная пряными запахами, вкрадчивая темнота аллей. Сплошные тайны. Романтика. Невыразимое, сокровенное, донине близкое, родное.

В городе, в газетном киоске, стоявшем посреди жары, между небом и морем, как отдельный крохотный островок, я купил, еще издали увидев броскую обложку, сразу же выделявшуюся среди маловыразительных обложек прочих периодических изданий, свежий, только что вышедший номер журнала «Юность», с напечатанной в нем первой половиной катаевского романа, — и немедленно, прямо на улице, забыв обо всем остальном, стал его читать. Боже мой, кание откровения таил в себе для меня этот полностью совпадавший с тогдашним моим состоянием и со всеми перепадами настроений моих, заворачивавший, написанный так, что невозможно было оторваться от него, навсегда входивший в мое сознание текст!

Потом, через бесконечно тянувшийся месяц, назавшийся мне целым годом, уже в Кривом Роге, проявляя должное терпение и разрываясь от желания поскорее прочитать продолжение, с трудом дождавшись нужного времени, заранее договорившись с продавщицей в киоске «Союзпечать», чтобы ни в коем случае не опоздать, прийти к открытию киоска, быть первым, чтобы никто не успел меня опередить, — купил я пахнувший типографской краской следующий номер «Юности», со второй половиной романа. И, поспольку никак нельзя было удержаться, тут же, на месте, с головой погрузился в чтение.

Позже, проявляя упорство и волю, поспольку ниги в прежние времена выходило, по сравнению с нынешним «как бы временем», немного, — я все-таки разыскал и купил отдельное издание этой книги, читал ее и перечитывал.

Настоящим праздником для меня стала вышедшая в самом начале шестидесятих годов (опять приходится говорить: прошлого столетия) катаявская тетралогия «Волны Черного моря». Два солидных тома, в крепких суперобложках с синими зигзагами — стилизованными морскими волнами. В них — четыре романа. Причем завершающий эпопею роман «Натакомбы», хорошо мне известный раньше под другим названием, оказался изрядно, на добрую треть, сокращенным. Признаться, мне жаль было, что в него не вошли многие великолепные страницы. Но писателю всегда виднее, как поступить. Сознательная жертва была им принесена — во имя целостности всей эпопеи. Вскоре я это понял. Радостно было мне осознавать, что любимые книги мои наконец-то изданы не поврозь, а все вместе. Эти два тома, уцелевшие в круговерти всех моих прежних, бурных, зачастую бездомных лет, и теперь стоят у меня под рукой, в контебельском доме, на полке. При желании можно достать их — и снова читать.

Помню, как поразила меня повесть «Отец». В ней почувствовал я ту недосказанность, тот главный, пронзительный, трагический смысл этой вещи, скрытый глубоко внутри, между строк, встающий за текстом, точно молчаливый, но помнящий абсолютно все и терпеливо ждущий той поры, когда можно будет сказать правду, очевидец страшных времен, смысл, только слегка зашифрованный, смутно угадываемый, призывающий пристальнее взглянуться в него, распознать его, правильно понять, смысл, который открылся, наконец, почти через пять десятилетий, уже в наши дни, в начале нового века.

В школьные свои годы, лет с двенадцати, я, с первого по восьмой класс отличник, примерный ученик, — правда, все больше и все охотнее интересующийся тем, что происходит вне школьных стен, постигающий жизнь в разнообразных ее проявлениях, поскольку это было намного интереснее школьных уроков и сулило немало неожиданных открытий и даже откровений, — уже вовсю, запоем, писал. В основном — прозу. Приключенческую. Это было ведь так увлекательно! И, конечно, фантастику. Тоже, согласитесь, предостаточно возможностей для того, чтобы вообразить уж такое необычное, что самому себе можно было удивляться.

Чего только я в ту блаженную и вдохновенную пору своего наивного и такого раннего творчества не насочинял! Идеи, одна другой лучше, смелее, парадоксальнее, возникая сами по себе, словно ниоткуда, загадочным образом, ежедневно переполняли меня. Сюжеты, закрученные немыслимыми спиралями, рождались в голове моей один за другим, непрерывной чередой. Я просто не успевал все это записывать. Начинал какую-нибудь очередную «приключенческую повесть» — и все для меня уже становилось ясным, дальше писать было неинтересно. В голову приходило — новое. И я бросал частично исписанную тетрадку — и начинал заполнять другую.

Понуда я шел в школу, находившуюся в трех километрах от родительского дома, на военном городке, я успевал столько нафантазировать, что и писать уже не хотелось. Потом я шел из школы после занятий, снова три километра, домой, тоже в окружении своих фантазий.

Дома, вечерами, я усаживался за отцовский письменный стол, зажигал настольную лампу на высокой устойчивой ножке, старомодную, с зеленой, широкой, стеклянной, слегка приплюснутой полусферой, наподобие шляпки

большого гриба, сверху, доставал из ящика стола чистую тетрадку — и принимался сочинять очередную повесть или рассказ.

Шумел за окнами весенний, летний или осенний дождь, шел мягкий, пушистый, волшебный, какой-то гоголевский, с причудами, украинский снег, светило степное солнце, гудел порывистый ветер, зеленела или желтела листва, лиловело или светлело возвышающееся воздушным куполом над знакомой округою небо, сиял словно пришедший из народных песен молодой месяц, горели в необозримых высотах неисчислимые звезды, времена года сменялись, я становился старше, к сочинительству своему относился все серьезнее.

В школе я издавал рукописный литературный журнал, в единственном экземпляре, большую часть которого занимали мои собственные сочинения, а остальные страницы этого обычного, довольно толстого альбома для рисования, моего журнала, были заполнены писаниями моих одноклассников, до этого сроду ничего не писавших, но вдохновленных мною на сочинение стихов и прозы и неожиданно увлекшихся этим занятием.

Постепенно от приключений и фантастики я перешел к писанию более «жизненных» текстов, к реальности, оказавшейся в достаточной степени увлекательной и даже фантастической.

Я взрослел. Часто влюблялся. Старался проявлять свою независимость, самостоятельность. Приучался, при надобности, совершать решительные поступки. Пространства страны, именуемой нынче Империей, оказались необозримыми. Реальной становилась возможность будущих путешествий. Несколько раз ездил я на Черное море — на Кавказ, в роскошь субтропиков, гор, плещущихся на просторе белопенных волн, и в Крым, более скромный, какой-то домашний и потому симпатичный, в насковозь пропитанный запахом лимонной полыни и йодистым запахом морской травы, степной Снадовск, несколько раз ездил в Бердянск, на Азовское море. Побывал, вместе со школьной экскурсией, в Москве, где, так я сразу решил тогда, после окончания школы буду я учиться в университете и жить, и в Ленинграде, совершенно особом городе, этой мистической, магнетически притягательной Северной Пальмире, от которой только шаг оставался до чужеземных стран. Горизонты и разные неизменно манящие дали как-то сами по себе, свободно, радостно, просто, вдруг раздвинулись для меня. Чувства, переполнявшие мою душу, требовали выражения в слове. Вполне понятно, что вскоре, после стольких впечатлений, размышлений, догадок, открытий и даже ранних прозрений, — начались и мои стихи.

Натаевские книги — надежные спутники, задушевные собеседники, закадычные друзья, помогавшие мне разобраться во многих вопросах, сформироваться, порою даже прозреть, — всегда были поблизости, рядом.

Однажды, прочитав какой-то литературоведческий текст с биографическими данными, то ли обстоятельную статью, то ли целую книгу о моем любимом писателе, я с удивлением и восторгом выяснил, что родился в один день с Натаевым.

В этом совпадении почувствовал я добрый знак.

О гороскопах тогда никто ничего еще толком не знал. Какие там гороскопы! Созвездия наблюдал я в ночном украинском небе, благо было оно в далекие годы настолько чистым, что вибрации необозримой вселенной можно было не только улавливать зрением, но и ощущать всей кожей. Теперь-то, в совсем другие, весьма хаотические времена, когда инфор-

мация, бунвально обрушившаяся на человечество, словно ее прорвало, не только велика, но и чрезмерна, и количество ее все возрастает, названия созвездий, под которыми рожден тот или иной человек, известны решительно всем, с малолетства.

Мы с Натаевым оба — по созвездию — Водолеи.

Было мне, наверное, лет пятнадцать, когда я решил написать Натаеву письмо. Дорогой, уважаемый Валентин Петрович, я очень люблю ваши книги, сам пишу стихи и прозу, и прочее, в таком роде. Письмо свое любимому писателю так я и не отправил. Адреса домашнего — не знал. И тому же, как-то застеснялся, смутился. Ну зачем буду я беспокоить занятого человека? С детства усвоенное правило: не навязываться людям. Чтобы, не дай Бог, не подумали, что я напрашиваюсь на знакомство. Нет, уж лучше я свою приязнь буду хранить в себе.

Это мальчишеское письмо, несмотря на бесчисленные утраты моих бумаг в семидесятые бездомные годы, словно вопреки всяким былым трудностям, — вдруг, лет через сорок пять, нашлось. Почему-то сохранилось, в кладовке родительского дома, среди старых рукописей. Видимо, не случайно.

То-то мысленный мой разговор с Натаевым никогда не прерывался, на протяжении всех минувших десятилетий.

Продолжается он и теперь, когда я, ставший, как принято в литературных кругах обо мне говорить, контебельским отшельником, немолод, сед, бородат, на собственном опыте узнал, что такое огонь, воды и медные трубы, прошел сквозь такие испытания, каких и врагу не пожелаешь, выжил, уцелел, написал столько стихов, что их — если вспомнить высказывание Хлебнинова о том, что написал он столько стихов, что хватит их на мост до серебряного месяца и провести некую параллель — хватит, думаю, для того, чтобы выйти за пределы солнечной системы, написал много книг прозы, примерно половину этих писаний, после четверти века существования моих текстов только в самиздате, поскольку на родине меня слишком долго, по разным и непонятным для меня причинам, не издавали, все-таки издал, когда со спокойной совестью могу сказать, что я тоже сумел сказать свое слово в отечественной словесности.

После окончания школы я, восемнадцатилетний молодой поэт, уже довольно известный у себя на родине, да еще и на себе успевший испытать, что это такое — негаданно нахлынувшие гонения, со всякими разгромными статьями в украинской прессе, в период хрущевского разгрома формалистов, незамедлительно уехал в Москву, поступил в МГУ, начал там учиться.

Столица всем нам, что-то пишущим или рисующим провинциалам, заменяла в минувшие годы Париж, до которого, при всем желании, не было никакой возможности добраться, и он оставался мечтой. А Москва — опять-таки при желании — была доступной. И мечта становилась реальностью. Надо было только проявить волю, настойчивость, добиться своего — и оказаться там, в ней, где жизнь, в отличие от провинции, действительно была ключом. Это был в подлинном смысле слова культурный центр. Однако литература в нем разделялась на официальную и неофициальную. Точно так же искусство разделялось на официальное и неофициальное. Нынче принято говорить — «другая литература», «другое искусство», андеграунд называют — «вторым русским авангардом». В прежнюю эпоху понятия

«андеграунд» не было. Чужеродное это словцо вряд ли пришлось бы кому-нибудь из нас по душе. Но, поскольку русского определения никто не придумал, приходится временно смиряться с тем, что есть. Разумеется, стал я одним из поэтов отечественного андеграунда. Известность моя стремительно росла. Круг знакомств и дружб с каждым днем расширялся. Нигде я не печатался. В нашей среде, вольнолюбивой, независимой, противостоявшей официозу, неприличным считалось печататься в советских изданиях. У нас выработалась собственная этика. Никуда, ни в какие редакции, не ходить, никогда никого ни о чем не просить. Не издадут? Переживем. На выручку всем нам пришел самиздат. Напечатать сборник стихов на пишущей машинке, в трех-четыре экземплярах, раздашь друзьям. Через неделю таких, размноженных на машинках людьми, сборников — уже в несколько раз больше, а через месяц-другой — и не счесть. Эпоха была орфической. Стихи прекрасно воспринимались людьми с голоса. Читал я свои стихи в самых разных местах, везде, куда непрерывно звали, охотно и часто. Вскоре образовался наш легендарный СМОГ — и завитки спирали моей судьбы оказались такими непредвиденными, крутыми, зачастую фантастическими, небывалыми, что продолжается это, должен признаться, и поныне.

И катаевские книги — по традиции, по причине всегдашней их необходимости для души и для сердца, — причем, что немаловажно, воспринимал я эти книги отнюдь не как стоявшие в бесконечном ряду общесоветской книжной продукции, но, по своему всегдашнему чутью, по давнему ощущению совершенно особенной, скрытой и, тем не менее, упрямо прорывавшейся к свету, с недомолвками, с болью, частями, постепенно, целенаправленно, как произведения, в достаточной степени андеграундные, и, к тому же, при всей их вынужденной замаскированности, приноравливании к диктовавшей жесткие правила и ставившей варьировавшиеся, в зависимости от политических веяний, собственные условия для существования, коварные условия, огороженной колючей проволокой, с указателями, что разрешено, что запрещается, куда можно идти, куда нельзя, жестокой, лживой, несмотря на все ее оптимистические призывы и лозунги, опасной, вроде минного поля, действительности, как явление не советской, а русской и только русской литературы, — всегда были рядом.

Шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые годы прошлого столетия — эпоха катаевской новой прозы.

Основные ее приметы? Их так много, настолько характерны они именно для этой прозы, так блещут они всеми сверкающими гранями своими в общей массе текстов, так убедительны они, так притягательны, так органичны, самым естественным образом существуя в сводке всех поздних катаевских текстов, что назвать их все, составить некий перечень, сложно. И все-таки — попробую назвать хотя бы некоторые из них.

Замечательная новизна авторского письма. Не вымученная, не кабинетная. Наоборот — свободная настолько, что проза соседствует в ней с поэзией, документальные вкрапления преобразены воображением, лирика дружит с эпичностью, внутри произведения запросто может оказаться еще и «книга в книге», могут появиться любые отступления, свободное движение в пространстве, перемещение во времени, могут быть слышны любые голоса, различимы самые разные лица, точнейшие детали соседствуют с обобщениями, пульсирующие, синнопические,

джазовые ритмы в ладу с мощным симфоническим звучанием текста, — новизна решительная, оправданная строем каждой вещи, совершенно естественная, очень живая, мгновенно узнаваемая, «фирменная», тысячами незримых, но чрезвычайно прочных нитей накрепко связанная с жизнью, с той реальностью, от которой нигде не денешься, которую позарез надо было выразить именно по-своему, сказать о ней — раз и навсегда.

Разительная непохожесть на все, что в те же самые годы писали остальные натаевские «собратья по перу». Или «по цеху». Все равно ведь, как их обозначить. «Собратья» — мнимые, условные. Потому что Натаев был одиночкой. Был, прежде всего, человеком независимым. От всего, что мешало ему жить и создавать свои вещи. Для того чтобы пресекать излишнее любопытство литературных деятелей, чтобы не допускать их, да и вообще никого из ненужных сограждан, с которыми всю жизнь приходилось ему быть начену, слишком близко, существовать вроде бы и на виду, но, на самом-то деле, замкнуто, в стороне от хаоса, от всеобщего бреда, от псевдосоциалистического сущего ада, шутки с которым были плохи, но в котором приходилось жить, да еще и вести с властью свою рискованную игру, были у него, боевого офицера, прошедшего первую мировую войну, затем воевавшего вовсе не в красной армии против белых, а в белой армии против красных, поистине чудом избежавшего гибели в ченистских застенках, слишком веские, крайне серьезные основания. Произведения писателя, если они настоящие, всегда похожи на него самого. Натаев, отстранившись от всяческой суеты и бестолковщины, сознательно уединившись в своем переделкинском доме, сосредоточившись исключительно на работе, вовсе не намереваясь упущенное — дар его, на протяжении всей его долгой жизни, был неизменно при нем и с годами, неуклонно развиваясь, проявляясь в каждой его вещи, становился только масштабнее, значительнее. Он, прирожденный творец, продолжал создавать свой, само собою — непохожий на все остальные, мир, он работал так целенаправленно, что серия все новых его книг, разрастаясь, приобретала черты эпоса. Его «мовизм» — поистине праздничное, мощное, лирическое и драматическое, зачастую и трагическое, вобравшее в себя весь его человеческий, жизненный, собственный опыт, все, что столько десятилетий хранил он в себе, обособленное и одновременно настезь распахнутое для современников, творческое противопоставление настоящей литературы — всей оптом серятыне, производимой несусветным числом членов союза писателей, одно только перечисление которых в алфавитном порядке занимало, как известно, толстенный том.

Детское изумление перед миром. Великое это дело — сохранить в себе детскую восприимчивость бытия. Стереоскопичность, объемность, выразительность, яркость, необычайная свежесть каждого мгновения дня или ночи, утра или вечера, каждого шага по земле, вхождение в явь, сулящую неисчислимые откровения, именно как в детстве, с широко открытыми глазами, в натаевской прозе чисты, высветлены, бережно взяты из памяти, и всему этому дано свободное дыхание, непрерывное движение, дарована жизнь, поистине «все во мне, и я во всем». Натаеву, когда читаешь его прозу, — веришь. Истатистически говоря, этим и сильны лучшие книги для детей — они написаны так, что их авторам — веришь. Натаевские читатели — это и дети, и взрослые. Книжки его, включая и поздние, выходили, помимо других издательств, еще и в «Детгизе», например, «Трава

забвенья», «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона». Читали их — взрослые люди. Те, которые знакомство с катаевской прозой начали с «Паруса» и прочих его книг, предназначенных вроде бы для детского и юношеского чтения.

Очень взрослое, трезвое, пришедшее рано, в молодости, тесно связанное с Первой мировой войной, с революцией, с Гражданской войной, с крушением всех прежних надежд, возможностей, идеалов, с разрушением всего, что было гармоничным, разумным, привычным, с гибелью прежнего, дореволюционного уклада жизни, с тем драгоценным, уже невозвратным, что казалось если не раем, то единственно важным, родным, сокровенным, сберегаемым в сердце, вынужденно скрываемым во всем круговороте советских времен, укрепившееся с годами, с накопленным опытом, ясное понимание устройства этого социального мира, пробудившее сопротивление злу, многолетнее противостояние, нашедшее выражение в поздних катаевских книгах. Думаю, поживи Катаев еще несколько лет, он не только «Уже написан Вертер» сумел бы создать — и высказаться открыто, откровенно, в полный голос, так, как в состоянии сказать был только он один.

Феноменальная зоркость. Умение видеть пристально, пронзительно, даже порою беспощадно точно, конкретно, сфокусировав свой прицельный, хищный, меткий, воинственный взгляд на предмете любом, на детали, с виду вроде бы незначительной, да на всем, что могло находиться в поле зрения, — как говорится, видеть все, и в природе, и в жизни, что хотел он увидеть, наснвзвь.

Уникальная память. Способность оживлять то, что вспомнилось, — в речи. На страницах написанных книг. В этих книгах — вся биография. Плюс история. География. Все, что видел, что помнил, что знал, что по-своему выразил в слове. Память — сказочная. Сокровищница. Из которой в книги вошла, полагаю, лишь некая часть. Остальное — надежно скрыто. К сожалению, навсегда. Но того, что сказано было, — предостаточно, чтобы нам, поражаясь катаевской памяти, возвращаться время от времени к поздней прозе писателя, прозе долговечной, авангардистской — и классической, прозе естественной, как дыхание, прозе новаторской, прозе, жанр которой непросто, этан с ходу, определить, и основа которой — память.

Смелость, даже отвага. В чем? В подходе к слову. В обращении со словом. В раскованности ассоциативного письма. В нахождении новых изобразительных средств. В неустанном расширении, обновлении этого внушительного арсенала. Да еще и дерзость. Раз уж писать, то не по шаблонам, а так, как хочется. Как надо. Потому что писать — значит творить. «Это шествуют творяне, заменивши Д на Т» — строка Хлебникова, из «Ладомира». Катаев был — и творянином, и дворянином, с личным, за геройство на войне, дворянством. Еще хлебниковское выражение: изобретатели и приобретатели. Катаев был, в творчестве своем, неустанным изобретателем. Несть числа его новациям в прозе. Надежда Яковлевна Мандельштам в своих воспоминаниях говорила о Катаеве примерно так: мол, трудно даже представить, как мог бы развиться огромный талант Катаева, если бы не советская власть. Развился талант.

Огромный. Несмотря на советскую власть. Катаев — прирожденный победитель. Он во всем — победил.

Великолепное чувство меры. Умение твердой рукой отсеять, устранять из текста все ненужное, лишнее. Катаев свою позднюю, мовистскую прозу, словно прислушиваясь к услышанному и всерьез воспринятым еще в молодости заветам Бунина, писал от руки. Сын Катаева, Павел, много раз наблюдавший неспешное, но неуклонное движение отцовской работы, лучше всех знающий, каной это был огромный труд, настоящий литературный подвиг, рассказывал мне, как отец его, работая над очередной книгой, сознательно убирал, вычеркивал все, что представлялось ему второстепенным, дисгармоничным, явно мешающим общему строю вещи, сгущал, оттачивал, высветлял текст, и только тогда, после этой нелегкой работы, после очередного переписывания, появлялся окончательный вариант произведения.

Искусство отбора. Там, где мера, совсем рядом, — отбор. Чего? Да любой стихотворной цитаты. Или — эпитета. Или даже — названия книги. Всего, что работает на целое. Составляет его. Придает ему должную выразительность. Всего, что нередко превращает прозу — в поэзию.

Полифоничность. Звучание одновременно нескольких музыкальных, смысловых, речевых тем в рамках одной вещи. Многоплановость. Многослойность. Перетекание темы в тему. Возможность вариаций. Полифоничность — открывшаяся вполне закономерно, сама, словно на зов, откликнувшаяся и пришедшая к писателю, благодаря внутренней свободе, раскованности и естественности изъяснения, гибкой и чуткой ассоциативности подвижного, будто бы саморазвивающегося, сверхающего всеми серебристыми нитями стиля и золотистыми узорами слога, дышащего, зрячего, живого, полнокровного катаевского письма.

Ясная, чистая, сочная, меткая русская речь. Здесь добавлять вроде бы нечего. Впрочем, постоит. Вот что следует обязательно сказать. Это — речь одессита, воспитанного на русской классике. Речь левантійца. Со всеми своими особенностями. То есть — речь, щедрая на неповторимые, невозможные в другом городе, уникальные интонации, тонкости, парадоксы, метафоры, виртуозные обыгрывания характерных деталей чего-нибудь, попавшего, как говорится, на язык, привычных понятий, на которые одесситы смотрят по-своему и судят о которых по-своему, независимо, решительно и оригинально, речь с примесью жаргонных словечек, с добавлением всякой житейской всячины, становящейся материалом для диалогов или монологов, для обсуждения всевозможных событий, речь солнечная, искрящаяся юмором, сдобренная иронией, приправленная, наподобие перца, особым южным шином в самом произнесении некоторых фраз, пропитанная черноморской солью, вобравшая в себя шелест одесских анаций, тополей и платанов, плеск морских волн, рыночный гомон, гудни кораблей в порту, птичий щебет в приморских парках, запах цветов, раблезианское изобилие фруктов и овощей, аромат белых, красных и розовых вин, вкус жареной скумбрии и знаменитых баклажанов, по-местному просто «синеньких», разговоры, песни, легенды, сонные окраины с мальвами возле заборов и с шелковицами во дворах, росношные центральные улицы, блеск стеклянных витрин магазинов, отражения в зеркалах, звон трамваев, гугуканье горлиц, крики чаен,

онрестные степи, высокие обрывистые берега, загородные дачи, тенистые сады, виноградные лозы, лунные отсветы, звездные россыпи в небе, да и все остальное, чем велик, прекрасен и вечен этот город, красавица-Одесса, столица юга, речь такая живучая, эффектная, колоритная, артистичная, глубоко и свободно дышащая самим воздухом Черноморья, самим вольнолюбивым духом этого выросшего когда-то на руинах турецкой крепости, созданного находившимися на русской службе иностранцами, французами, итальянцами, населенного русскими, украинцами, потомками запорожских казанов, полянами, евреями, греками, немцами, болгарями, молдаванами, образовавшими, по существу, единый, именно одесский, разноплеменный, но при этом и целостный, необычайный народ, великолепного, не имеющего аналогов города, что ее, эту речь, не спутаешь ни с какой другой. В прозе Натаева эта речь доведена до максимального совершенства. Всю жизнь он говорил с неистребимым одесским акцентом, даже не помышляя перестраиваться на московский, допустим, говорон. Своя рубашка ближе к телу. Речь повседневная — срослась с человеком. И стала — речью литературной, непрерывным, серьезным творчеством. Осип Мандельштам как-то сказал, что у Натаева есть настоящий бандитский шик. Это — суждение петербуржца, человека северного, об одессите, человеке южном. Насчет «бандитского» — конечно, сильно сказано, с явным преувеличением. Воображение у Мандельштама всегда работало постоянно и безотказно. Но вот шик — да, это Натаев легко, без особых усилий, мог продемонстрировать. При его-то, именно одесском, врожденном артистизме. Запросто мог и разыграть поэта. Ноторому, кстати, в трудные годы, в отличие от прочих писателей, сознательно, долго, с безусловным риском для себя, но при этом открыто и смело, помогал. Натаевский жизненный артистизм органично проявился и в его книгах. Артистичны они в высшей степени. Начало всего этого — разумеется, на родине писателя, в Одессе. На юго-западе Империи.

Одесситы — творцы своей собственной мифологии. Достаточно вспомнить местный фольклор. И прежде всего, разумеется, — одесские песенки. Да хотя бы вот эту: «На свете есть такой народ, он весело живет... Ай, Одесса, жемчужина у моря, ай, Одесса, ты знала много горя, ай, Одесса, любимый, милый край, живи, Одесса, и процветай!» Все ведь самое важное в ней уже сказано. Так, что запомнилось — надолго. Нет ничего удивительного в том, что эмигранты, выходцы из Одессы, основатели Голливуда, создали в новых для себя краях, ностальгически вздыхая по оставленной родине и одновременно испытывая творческий подъем, прекрасно уживающийся с коммерческим подходом к делу и трезвым расчетом, практически на пустом месте, из ничего, по вдохновению, решительно, азартно, отчаянно смело, всю оптом американскую мифологию, с лихими новбоями, индейцами, романтическими бандитами, роновыми красавицами, да и всем прочим, что и поныне производит заонеанская фабрика грез.

Множество разнообразных находок — в каждом натаевском тексте. Порой это даже похоже на сознательную демонстрацию приемов, ходов, свободных, размашистых, но и, что характерно и важно, предельно точных, обдуманых, убедительных, единственно возможных, для выражения чего-то конкретного, движений кисти артистического, вдохновенного, уверенного в себе художника. Очень современного, замечу. Ну да, реалиста. Вроде бы. А присмотреться повнимательнее — настоящего авангардиста. Последователя тех, наших, русских, отечественных, живших

и работавших в первой трети двадцатого века. В этом смысле — конечно, продолжателя традиций. Авангардных, само собою. Катаев — не так-то прост, как хотелось бы некоторым согражданам. Катаев — сложен. И — мудр. Есть народная пословица: «Годы как горы — в мешок не положишь». Катаев прожитые свои годы — как раз хранил в пресловутом мешке. Мешке памяти. Хотя были там и такие горы и горки, что унатали бы любого сивку. Но только не Катаева. Он, упрямец, хотел выжить. И выжил. Хотел жить. И жил. Хотел работать. И работал. Писал так, что дай Бог каждому. Впрочем, каждому такой дар не дается. Он — для избранных. Он вообще — большая редкость. И — огромная радость, для читателей. Катаев не только непрерывно рос, развивался, как писатель. Порой он переходил границы дозволенного. Смело заглядывал в такие области, где ждали его уже вселенские тайны. Человек сугубо земной, в любое мгновение ощущающий материальность мира, порою он все-таки становился почти визионером. В прозе его — предостаточно вполне мистического толка открытий, откровений и даже прозрений. Слишком долго он себя сдерживал. И только в старости стал неудержимо прорываться к пониманию таких тонких и сложных понятий, которые, будь они включены в его тексты и преображены его личным писательским видением, выражены в его слове, могли бы новым, таинственным светом засиять на страницах. Но, раз уж все сложилось у него, как всегда, только по-своему, именно по-своему, со всей обособленностью, неповторимостью, несомненной значительностью этого жизненного и творческого пути, а не иначе, не так, как у других, да и слишком уж много их, этих других, а Катаев — один, среди всех бурь и гроз минувшего времени, среди всех его ненавистников и всех его сторонников, ценителей, почитателей, то вполне достаточно и того, что им написано. Того, что — надолго — есть.

Что еще? Что важно, что существенно — в прозе Катаева?

Умение обобщать. Свойство, присущее не прозаикам, но поэтам. Обобщение — словно прощение. За некоторые вольности. За художественное, от детства идущее, озорство. За резность, которую обязательно надо было сказать. За дерзость. Оправданную. За нередкую, иногда и внезапную, но позарез необходимую в нужное время и в нужном месте книги, продинтованную чутьем, смену регистров, музыкальных ключей, тональностей. За раскованность и рискованность. За внутреннюю свободу. Только в дружбе с нею можно побеждать. Обобщение — не каная-нибудь там рамка для холста. Это что-то вроде благословения свыше — на такие слова, от которых только шаг остается до скрижалей. А может быть, и до вечности. Обобщение — прощение: с абсолютно всем, что мешает работать, мешает жить. Осознанное. Бесповоротное. Смелое. Решение, принятое раз и навсегда. Выход из мглы прозаической инерции — к свету, к поэзии. Обобщение — обещание: не единожды вспомнят и еще глубже поймут — в грядущем.

Внимание к безукоризненно точным деталям. Этому он учился еще в Одессе, на заре своей писательской работы, причем — у самого Бунина. Каждая деталь текста — частица целого. Наподобие кусочка смальты в мозаике. Из соединения этих частиц получается целостная картина. Катаевская деталь могла бы, наверное, существовать и сама по себе, настолько она выразительна, такое это всегда снайперское попадание в яблочко. Но задача писателя — намного серьезнее: создать полно-

ценное произведение. Пастернаковский «всесильный бог деталей» здесь только помощник. Писатель и сам — творец. Из некоего замеса, в котором немало чего содержится и в процессе работы, в движении, идет в ход, в итоге возникают — миры.

Гибкая, послушная и мысли, и вдохновению, и наитию, и чутью, многообразная, сверхающая разного рода новациями, пластинка всех натаевских текстов. Ладно уж — виртуозность, иногда и парадоксальность, весь блеск мастерства, — все это есть. Но еще ведь и какая-то особенная элегантность, что ли, самого письма. Элитарность, наверное. При всем демократизме, при всей густоте жизненного материала. Пластинка — прихотливая, но без тени навязчивости, не раздражающая. Наоборот, органичная. Совокупность речи, музыки, живописи, театра, кинематографа. Создающая зримые, живые, объемные формы.

Найденные для каждой вещи единственно верные ритмы. Об этом вполне можно написать обстоятельный трактат. Ритмы — созвучные с различными настроениями, состояниями души. С биением сердца. С дыханием. Связанные, кстати, и со вселенскими ритмами. Ведь Натаев, неоднократно, сознательно подчеркивая, что мир, без сомнения, материален, воспринимал мироздание как единство всего сущего — и выражал это единство, средствами речи.

Создаваемое каждой вещью, магически притягательное поле. Почему так увлекают, завораживают натаевские книги? Почему трудно от них оторваться, понуда не дочитаешь до конца? Почему их через некоторое время еще и перечитываешь, причем открываешь в них обязательно что-то новое для себя? Потому что в них есть это мощное поле. Каким образом оно создается — тайна писателя. Многое здесь — от мастерства, но что-то — и от волшебства.

Рождение новых жанров в прозе. Да, это заслуга Натаева. Более того, это наглядный и убедительный пример — что такое настоящее свободное творчество. Это одновременно и урок — тем, кто думают, что подобные тексты делать легко. Так писать — трудно. Натаев очень высоко поднял планку. Словно распахнул окно, за которым стали видны тропы и дороги, ранее скрытые в тумане соцреализма и разных устаревших схем. Он показал, насколько велики возможности прозы. Новой прозы, как сам он ее называл. Или, как именовал он свой поздний период, по счастью, долгий и плодотворный, — мовизма.

Мгновенная узнаваемость всех натаевских текстов. Их лицо. Голос. Их выделяемость, отделяемость, в читательском сознании, от текстов других писателей. Вспоминается понятие — харизма. В жизни Натаев, безусловно, был харизматичен. Можно ли сказать это и о книгах его? Не знаю. Но то, что, помимо их обаяния, их притягательности, их необходимости для людей, есть в них нечто и более высокого порядка, пусть это выразить трудно, хотя и ощущаешь это хребтом, и принимаешь это безоговорочно, полностью, навсегда, — непреложный факт.

Натаевский юмор. Нан же одесситу без этого жить? Говоря по-одесски, что это за манцы? Настоящий одессит и шаг без юмора

не шагнет. Во всяком случае, юмор везде при нем, всегда наготове. Юмор — в самой его природе, в сознании, с детства. Юмор — помогает, выручает, защищает. Едкая, метко бьющая в цель, ирония. Тоже что-то вроде брони. Хотя и сквозь нее проникают стрелы грусти, да и тоски, и скорби, и отчаяния. Все в жизни взаимосвязано. Вот оно — и вокруг, и в самом человеке. Обостренное восприятие всех без исключения жизненных перипетий, событий, каждого дня, часа, мгновения, — характерное свойство талантливых творческих людей. Катаев — человек ранимый. Держался, даже хорохорился, виду не подавал, что это так. Но — мучился, страдал. Скрывать это помогало боевое оружие — юмор, сатира, ирония. Что на самом деле было в душе? Чем было переполнено сердце? Ответы — в книгах его.

Катаевские большие предложения. Коронные. Классные. Многоплановые. Разумеется, полифоничные. Наглядно демонстрирующие весь блеск, все высоты писательского мастерства. Такие предложения — словно отдельные произведения. Некий синтез изобразительных средств. При этом они вовсе не стоят особняком. Они естественны, необходимы. Поди попробуй вырвать их из текста! Не старайся, ничего получится. Они — на своем месте. Именно там, где они больше всего нужны.

Выраженные в русском слове с огромной силой, независимо, смело, верно, откровенно и глубоко, неминуемая трагичность и несомненная красота бытия.

И так далее, как обычно говаривал Хлебников.

«Фирменных» примет этой прозы — множество.

И важнейшая из них — поэзия.

Да, поэзия. Ведь известно: если человек, пишущий прозу, по сути своей, по устройству души, поэт, если дар этот сумел он сохранить и развить, то и проза его — всегда особенная, разительно отличающаяся от «нонкретной» прозы.

Примеры? Пожалуйста.

Гоголь, Бунин. Паустовский, Олеша. Юрий Назанов.

И, конечно, Катаев.

Лет пятнадцать назад зашел у меня разговор с одним давним моим приятелем, о Катаеве и Олеше. Приятель с трудом разыскал и наконец-то купил в бунинистическом магазине катаевский десяти томик — и теперь с упоением читал, все тома, подряд.

Он вдруг обрушился на прозу Олеси, утверждая, что, конечно же, все это хорошо, но чего-то необходимого для писателя все-таки ему не хватало.

Из этого бурного, пристрастного, на повышенных тонах, но зато предельно искреннего и потому интересного монолога неожиданно вырвалось: «Понимаешь, у Катаева есть в текстах — соединительная ткань. А у Олеси — этого нет!..»

В сознании моем что-то щелкнуло, словно включился электрический ток. Определение — было найдено.

Да, именно так. Соединительная ткань. То, необычайно важное, каким-то образом прочно связанное со всей энергетикой произведений, то, что словно обволакивает защитной пленкой слова, служит для сцеп-

ления фраз, гармонизирует строй, работает на взаимосвязь всех частей, на целостность прозы, что дает нужные вибрации, движение, развитие, глубокое, долгое дыхание, дает полноценную жизнь текстам, плазменное или звездное вещество, живущее в русской речи.

Строфическая запись текстов — это не вовсе не вольность, которую позволил себе в своих поздних книгах опытный мастер. Это — необходимость. Когда проза — почти поэзия, или даже — просто поэзия, то надо уметь найти единственно верное решение — как ее записать. Катаев такое решение — нашел.

(В конце шестидесятых годов — увы, прошлого века! — Генрих Сапгир, в мосновской своей квартире, где бывала вся тогдашняя богема, читал свою книгу стихов «Элегии» приехавшему из Питера Иосифу Бродскому. Понуда чтение длилось, Бродский явно нервничал и весь как-то напрягался, словно человек, чего-то еще не знающий и от этого мучающийся, и как можно скорее желающий узнать то, что для него важно. Когда Сапгир прочитал всю книгу, Бродский первым делом спросил его: «А как это записано?» Генрих показал ему самиздатовскую машинописную книгу. Стихи в ней были записаны — в строку, внешне напоминая — прозу. Между текстовыми сгустками — были пробелы. Бродский сразу же преобразился, оживился, повеселел: он понял, как это сделано.)

Пробелы между абзацами и периодами, будто между строфами стихотворения, в катаевской прозе тоже чрезвычайно важны. В них — воздух. Да, именно воздух. Другого слова здесь не подберешь. Воздух, нужный — для дыхания. Дышит ведь — и сам писатель, и его текст. И Катаев это прекрасно понимал.

(Истати, мой друг, замечательный художник Анатолий Зверев, много раз в былые времена говорил: рисовать надо так, чтобы воздух в работе оставался. Он, человек уникальный, вообще много чего знал и понимал. Свидетельствуют об этом теперь — его анварели, живопись и графина, получившие мировое признание.)

Вся катаевская новая проза — встает столпами, колоннами, напоминая то ли Стоунхендж, то ли Парфенон.

«Святой колодец», «Трава забвенья», «Нубин», «Алмазный мой венец», «Юношеский роман», «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона», «Нладбище в Снулянах», «Уже написан Вертер», «Спящий», «Сухой лиман».

Вышедший в «Вагриусе» несколько лет назад четырехтомник называется просто и кратко: «Мовизм».

Созданный Катаевым памятник своему времени.

Помню, как читал я и перечитывал вещи Катаева, напечатанные в «Новом мире», в самую трудную, бездомную пору своей жизни, в семидесятых, тридцать пять и почти сорок лет назад, у себя на родине, в Кривом Роге, в родительском доме, куда я, набродившись, намаевшись, приезжал — и только там приходил в себя, обретал новую энергию и снова много работал.

Помню, как читал я катаевские книги — в любые свои годы, и в молодые, и в зрелые, и в любые свои периоды, и в непомерно сложные, и в относительно светлые.

Чтению этому — без малого шестьдесят лет.

Вот сколько времени книги Катаева — рядом.

Никто не догадался донине — сопоставить катаевский «Алмазный мой венец» с «Поэмой без героя» Ахматовой. А ведь параллели — есть. И невольная перекличка. И эта карнавальность — в бахтинском понимании? Или в катаевском? Карнавал — или маскарад? Или — миранль? Что это за произведение? Может быть, реквием? Или — сжатый до объема в двести страниц новый эпос? Это ведь не просто воспоминания. И не только воспоминания. Да и вообще — никакие не воспоминания. Нечто совсем другое. Но что? Вот и гадают об этом и читатели, и литературоведы. Им есть над чем поразмыслить.

На позднюю катаевскую прозу, безусловно, оказали воздействие фильмы Федерико Феллини. То-то в «Святом колодце», в одном эпизоде, будто бы так, между делом, между прочим, появляется Джульетта Мазина, жена и любимая антриса Феллини, с явным намеком на эту связь творчества русского писателя с фильмами итальянского кинорежиссера.

Кто-то писал о том, что еще при жизни Катаева зашел разговор о том, что было бы интересно экранизировать повесть «Нубин». И Катаев тогда сказал: «Для этого нужен Феллини». По существу, сам все вкратце объяснил.

Дорогие сограждане, вот что всем вам следует нынче знать. Это вовсе не диссиденты, а Катаев, гораздо раньше и намного действеннее, своим журналом «Юность», главным редактором которого был он в переломные годы нашей отечественной истории, расшатал советскую власть.

Никогда не забыть мне, чем был для всех нас во второй половине пятидесятых и в начале шестидесятых годов прошлого века этот журнал. Со страниц его тогда — веяло свободой. Он был настолько нов, необычен, по сравнению с другими литературными журналами, был так интересен для всей молодежи, да, собственно, для людей всех возрастов, что его читали взахлеб, ждали выхода каждого очередного номера с нетерпением, находили в нем для себя, чуть ли не на каждой странице, нечто важное, близкое, довольно смело и достаточно убедительно, по тем временам, говорящее, в обход цензуры, не напрямую, конечно, поскольку такое было тогда невозможно, да и опасно, с обязательными предосторожностями, но упрямо, целенаправленно, с помощью всего богатейшего арсенала средств речи, об уже происходящих и всех возможных, желанных, грядущих переменах в жизни страны. Журнал был — всегдашним праздником и постоянным откровением. Был — необходимостью. Именно как воздух. Журнал был создан — Катаевым. Совпадение обстоятельств? Или судьба? И то и другое. И еще — знамение времени. Катаев это — почувствовал. Потому и взялся за редакторство. Появился журнал нового типа. Таких раньше не было, да и быть не могло. Журнал делал свое дело исключительно хорошо. Просветлял сознание. Вселял в молодые сердца надежду на лучшее — там, впереди. Расширял кругозор. Журнал был — и учебником, и лечебником. Журнал появился вовремя — и сдвинул заржавленные стрелки незримых часов. Изменил у молодежи угол зрения. Вызвал к жизни новые веяния, новые взгляды. За которыми позже пришла пора поступков — и даже деяний и подвигов.

Шестидесятники, прозаики и поэты, печатавшиеся в «Юности», смело можно сказать, выращены, воспитаны Катаевым. Это он их открывал. Он с ними работал. Он дал им пресловутые путевки в жизнь. Это ему, замечательному редактору, обязаны они своей известностью.

Но всем им — никогда не сравниться с Катаевым.

Как говорилось в одной комедии, «не тот фасон».

И тому же, сознательно понинув пост главного редактора «Юности», чтобы сосредоточиться на творчестве, Катаев преподавал всем им велико-лепный урок, на примере своих новых книг, как можно писать, как надо писать, наковы разнообразнейшие возможности русской прозы.

Предки Катаева по материнской линии, со времен Запорожской Сечи и до конца девятнадцатого столетия — воины. И сам он — воин. Воитель. Еще будучи юношей, он ушел на Первую мировую войну. Стал артиллеристом. Был ранен, контужен. Имел боевые награды. Офицер. Герой. В Гражданскую войну — тоже воевал. В белой армии. Но вовсе не в красной. Командовал головной башней бронепоезда. Видимо, принимал участие в одесском заговоре против красных. Был схвачен чекистами. В тюрьме около полугода ожидал расстрела. Избежал гибели — чудом. После всех пережитых потрясений понял, что прежнюю Россию, за которую столько лет он сражался, уже не вернуть. В новых условиях надо было — выживать. Как-то приноравливаться ко всему, что происходило в стране. Выручил Катаева — огромный его талант. Уехав из родной Одессы, вначале в Харьков, а потом в Москву, молодой писатель вскоре начал широко печататься и получил признание в столице. Да еще и перетаскивал сюда многих своих одесских друзей. Катаевская война — продолжалась на протяжении всей его жизни. Вел он эту войну — средствами речи. Столько десятилетий, не только сложных, но и страшных, когда погибнуть можно было в любой день, Катаев за нос водил советскую власть! И ведь переиграл ее. Победил. И расшатал. Своим журналом «Юность». Сумел изменить сознание молодежи. Все, что считал сказать нужным, — выразил в поздних книгах своих. Высказался — надолго. Думаю, на столетие вперед.

Катаев — и власть. Лучше всего сказал об этом он сам:

«Бессмертию вождя не верь: есть только бронзовая дверь, во тьму открытая немного, и два гвардейца у порога».

Катаевское зрение. Поразительное. Орлиное? Нет, человеческое. Но — уникальное. «Хищный глазомер простого столяра», как говорил Мандельштам? Нет. Зрение прирожденного воина. Воителя. И — писателя.

Фамилия матери писателя — запорожская, козацкая. Бачей. От слова «бачити», по-украински — «видеть».

(Фамилия — прозвище. Давалась — по роду занятий. Шаблей, например, — тот, кто сабли делал, нузнец. Бачей — прекрасно видел, обладал особенным зрением. Зоркий человек. Видевший, различавший вдали то, чего не замечали другие. Кстати, древнее значение слова «гетман» — хорошо видящий, зоркий вождь. Геть — значит «смотреть, видеть».)

Катаев — именно видящий.

Есть в нем и немецкая кровь, по материнской линии. Возможно, и каная-нибудь южная, степная, тюнская, от предков-запорожцев.

По отцовской линии предки его — из Вятки. Скорее всего, потомки новгородцев, поселившихся когда-то в этих краях.

Сказу о происхождении фамилии — Катаев. Раньше «натать» — значило «жить без оглядки, гулять, нутить». Отсюда — «натый», бесшабашный, разгульный человек.

(А еще катаяй — представитель одной из башкирских родоплеменных групп. От племени катаяй — название уральского города: Натаяйск. Многие обрусевшие катаяй стали Натаевыми. Но это вряд ли относится к писателю.)

Любовь для Натаева — самое главное. Движущая сила бытия. Всю свою жизнь, и в прозе, и в стихах, благородно, искренне, страстно, застенчиво, находя чистейшие, светлые слова, говорил он о любви:

«Носнуться рун твоих не смею, а ты любима и близка. В воде, как золотые змеи, скользят огни Нассиопеи, ночные тают облака. Носнуться берега не смеет, журча, послушная волна. Как море, сердце пламенеет, и в сердце ты отражена».

Так уметь сказать — значит, быть настоящим поэтом.

Одесса — родина Натаева. И его «вечная весна».

Натаев — совершил свой литературный подвиг. Создал свои долговечные книги. Высказался так, как считал нужным. И воспел свой родной город намного сильнее и лучше всех своих земляков, поэтов и писателей. Такая любовь — заслуживает благодарности одесситов. Знаю, что когда-нибудь, под ясным южным небом, в окружении анаций с их воздушной листвою, сквозь которую издали различимо прекрасное Черное море, будет стоять в Одессе памятник одесситу Натаеву.

Подмосковное Переделкино — место долгого обитания Натаева. Место его затворничества и его подвижничества. Здесь, в течение многих лет, каждый Божий день, он работал. Здесь — создан его мовизм. Здесь написаны его поздние книги. Старость словно ничего не могла поделывать с этим человеком, наделенным невероятной жизненной энергией. Чем старше он становился, тем лучше писал. Размеренная, замкнутая, сосредоточенная на работе жизнь в Переделкине и все натаевское творчество этого периода — пример серьезнейшего отношения к писательскому труду. Натаев — действительно труженик. Он умел работать. Он все время совершенствовался, шел вперед, вглубь и ввысь. Его десяти томное собрание сочинений — полагаю, далеко не полное.

Бунин — учитель Натаева. Это известно всем. Никогда не стал бы обладавший «тем еще» характером, сверхтребовательный решительно ко всем вокруг, и уж тем более к людям пишущим, известный писатель возиться с каким-то одесским мальчишкой, если бы по первым же прочитанным им полудетским стихам этого вихрастого гимназиста, по каким-то отдельным строкам, словно по высветлившимся знакам, не понял, что Натаев действительно талантлив. И помог ему — развить свой талант.

Видимо, чете Буниных было хорошо известно, что Натаев некоторое время воевал в белой армии и, наверное, имел отношение к офицерскому заговору в Одессе. Но они умели хранить тайны.

Для Бунина было крайне важно, чтобы его ученик состоялся как писатель. И он этого дождался. Несколькими десятилетиями он внимательно следил за творчеством Натаева, читал все его публикации. Книгу «Белеет парус одинокий» Бунин в Париже читал вслух жене и восхищался, что Валя Натаев так умеет писать.

Однажды мы с Андреем Битовым говорили о том да о сем. Разговор как-то сам по себе съехал на литературу: что в итоге останется от писа-

теля? Вдруг я произнес пламенный монолог в честь Катаева. Битов задумался. Потом сказал: «Да мало ли что происходит с человеком в жизни! Главное — то, что он создал, что написал». Я сказал: «Именно так». Битов посерьезнел и, словно окончательно убеждая самого себя, подтвердил: «Написанное Катаевым — надолго останется».

Приходилось мне порою обстоятельно и серьезно беседовать с сыном писателя, Павлом Катаевым. Знаком я с ним лет сорок. Виделись мы и в Москве, и в Контебеле. И, разумеется, говорили о его отце. Павел написал об отце отличную книгу — «Доктор велел мадеру пить». Книга эта недавно издана. Иногда, в разговоре с Павлом, я увлекался и начинал ему говорить, как я понимаю Катаева, насколько важно для меня присутствие этого писателя в моей жизни. Павел оживлялся, весь как-то просветлялся и восклицал: «Ты обязательно напиши об этом!» Вот, пишу сейчас этот текст. Далеко не все говорю, что в состоянии сказать. Приходится сдерживать себя. Срабатывает чувство меры. Эссе мое — не трактат, не обстоятельное исследование. Кроме того, я не литературовед, а поэт. Говорю — о том, что считаю нужным сказать. Прежде всего — о том, кто Катаев — для меня самого.

Катаев — не был учителем для меня. Был — воображаемым собеседником. Спутником. Был — мысленным другом. Катаев — присутствовал, сопутствовал, напутствовал. Почему так получилось? Почему все происходило именно так? Объяснить невозможно. Да и зачем объяснять? Что-то совпало, давным-давно. И осталось в душе — навсегда. Какие-то частоты и волны, на которых работал Катаев, были найдены вовремя, и слова его были услышаны мною в общем гуле и хаосе перенасыщенного всевозможными звучаниями эфира. Так все сложилось. И этому я — рад.

Катаев — действительно *видящий*. Порою — до ясновидения. Вспомним, в «Траве забвенья», цветок бигнонии — страшный образ революции, гражданской войны, гниения, распада всего былого, назавшегося прекрасным и оказавшегося разрушенным, гибнущим, образ цивилизации, которая, быть может, когда-нибудь сумеет выжить и возродиться.

Верный угол зрения важен — при чтении катаевских книг, и особенно — при чтении книги «Алмазный мой венец». Только такой угол зрения поможет читателям понять, что же это за необычное произведение, в чем его тайна, суть, видимый и скрытый смысл, почему суждена ему долгая жизнь.

В завихрениях нашего нынешнего «как бы времени» титулы «великих» раздают кому угодно, даже всякой попсе. Напрочь забывая при этом о немногих, действительно достойных людях.

Поэтому — скажу сейчас то, что давно пора всем осознать.

Валентин Петрович Катаев — говорю это всем — и зоилам, и читателям понимающим — великий русский писатель.

Заслужен им, воином речи, — алмазный его венец.